

Гирке, съ его учениемъ о «социальномъ и индивидуальномъ правѣ» и противоборствѣ «союзно-товарищескихъ (Genossenschaften)» и «господскихъ (Herrschaften)» организаций. Серьезнымъ преимуществомъ Петражицкаго, однако, было то обстоятельство, что онъ разсматривалъ юридическую структуру господскихъ союзовъ не такъ разновидность социальнаго права, а какъ его извращеніе путемъ противоестественнаго подчиненія праву индивидуальному. Такимъ образомъ Петражицкій предвосхищалъ современныя ученія о социальномъ правѣ, какъ правѣ чисто интеграціонномъ, одинаково отличномъ и отъ координаціоннаго и отъ субординаціоннаго типа. Всѣ поиски автономнаго хозяйственнаго права, характерныя для современныхъ анти-этатистскихъ социалистическихъ конструкций и для новейшей теоріи рабочаго права, суть ничто иное, какъ, выражаясь терминами Петражицкаго, поиски внѣгосударственнаго (неофициальнаго) права социальнаго служенія общаго характера\*), точно такъ же, какъ всѣ институты такъ назыв. «хозяйственной демократіи» сводятся къ попыткѣ освободить партикулярное социально-служебное право отдѣльныхъ хо-

\*) Такой же характеръ имѣетъ и современное международное право, которое Петражицкій, къ сожалѣнію, совершенно ошибочно исключилъ изъ сферы «социально-служебнаго права».

зяйственныхъ ячеекъ отъ его противоестественнаго порабоженія индивидуальному праву собственности, порабоженія, превращающаго капиталистическое предприятие въ господскій союзъ...

Вся современная юридическая мысль пошла здѣсь по пути, предугазанномъ Петражицкимъ, и можно лишь преклониться передъ гениальной прозорливостью его юридическихъ конструкций, тѣмъ болѣе что онъ припелъ къ своему учению о «правѣ социальнаго служенія» вопреки своимъ субъективистическимъ и индивидуалистическимъ предразсудкамъ. Нетрудно замѣтить, что подобное ученіе еще въ большей степени, чѣмъ другія достиженія Петражицкаго, предполагаетъ реальность социальнаго блага и необходимо выводитъ за предѣлы субъективнаго сознанія.



Громады богатства, заключенныя въ идейномъ наслѣдіи Петражицкаго! Исключительная широта раскрытыхъ имъ юридическихъ горизонтовъ дѣлаетъ его теорію еще гораздо болѣе животрепещущими теперь, чѣмъ въ моментъ ихъ выработки. И нѣтъ сомнѣній, что переводъ его замѣчательной «Теоріи права и государства» на европейскіе языки, могъ бы оказать чрезвычайно крупнымъ событіемъ въ мировой юридической литературѣ.

Г. Д. Гурвичъ.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ

Ив. Бунинъ. Тѣнь Птицы. Изд. «Современныя Записки», Парижъ. 1931.

Начинаешь читать «Тѣнь Птицы», приходишь до описанія отплытія парохода изъ одесскаго порта — и сразу-же магія бунинскаго слова оказываетъ свое неотразимое дѣйствіе: съ читателемъ происходитъ приблизительно то же самое, что при приступѣ къ «Войнѣ и Миру» или къ «Ангѣ Карениной». Толстой вводитъ насъ въ семью, и вотъ она уже — наша семья, мы уже въ ней живемъ, и намъ кажется, что жили въ ней съ дѣтства, какъ ея неотрывная часть. Въстѣ съ Бунинымъ мы продѣлываемъ его паломничество, видимъ посѣщенный имъ Востокъ такъ, какъ если бы онъ въ «самомъ дѣлѣ» былъ намъ показанъ. И все время, покуда длится чтеніе, переживается и еще одно: особенное чувство путешествія, отрыва отъ привычной жизни, отъ радное и жуткое сознаніе одиночества и въстѣ приобщенія къ другимъ мірамъ, загадочное ощущеніе своего, доселѣ невѣдомаго, «чистаго» Я — все то, что иногда заставляетъ насъ безсознательно, инстинктивно стремиться къ странствованіямъ, скитаніямъ, гонитъ насъ вонъ изъ дому. Этотъ инстинктъ романтической по преимуществу — и не случайно тема «дороги» была преобладающей въ литературѣ романтики. Невольно напрашивается сопоставленіе Бунина съ величайшимъ, можетъ быть, представителемъ романтики, Шатобрианомъ. Сопоставленіе именно авторовъ, а не книгъ, ибо какъ разъ та книга Шатобриана, которая по содержанию ближе всѣхъ стоитъ къ «Тѣни Птицы» — его *Itinéraire de Paris à Jérusalem*, — меньше всѣхъ другихъ напоминаетъ бунинскія. Вѣдь и Шатобрианъ былъ представителемъ «дворянскаго оскуднѣнія»; и ему, казалось, самой судьбой было предназначено стать эмигрантомъ и скитальцемъ; и у него тотъ-же скорбный пафосъ бездомности и, вѣроятно связанная съ нимъ, та-же острота воспріятія міра, всегда болѣе свойственная тому, кто ощущаетъ себя въ немъ гостемъ, нежели тому, кто въ немъ расположился хозяиномъ.

Повторяя Шатобриана, Бунинъ совершилъ «романтическое» путешествіе по слѣдамъ Христа — и Христа не нашелъ. Это вполне естественно. Ибо истинная родина евангельскаго Христа не тамъ, гдѣ разыгрывается евангельское дѣйствіе. Эта сухость и четкость линий, этотъ предѣльный лаконизмъ, эти несравненные трезвость, ясность, простота, слержанность, составляющія специфическія особенности синоптиковъ, находящіяся въ столь рѣзкой противоположности съ варварскою громоздкостью, съ потрясающей и изнуряющей грандіозностью Вет-

хаго Завета, — наследие иного, не восточного, а эллинского гения. Замечательно, как слабо повлияло Евангелие на всю последующую культуру христианского человечества — доказательство, как безспорно умерла Эллада: ведь вся история христианского искусства, и западного и восточного, связана гораздо больше с апокрифами, нежели с каноническими книгами Нового Завета. И то немногое, что говорит о Христе Бунин, навязно, как кажется, скорее всего выросшим на почве апокрифической литературы искусством христианского средневековья, а не Евангелием и не мѣстами, которые он постигал, и на которых он, подобно Ренану, глядел сквозь призму христианской, очень отдалившейся от своего первоисточника, традиции о Христе. Огромное чутье правды, присущее Бунину, выразилось и здесь в том, что он не впал в ошибку Ренана, и упомянул о Христе лишь вкратце и мимоходом. Зато Ветхий Завет может быть понят лишь тем, кто видел мѣста его возникновения, кто знает по личному опыту, что такое пески пустыни и испепеляющие все живое беспощадные и всюду настаивающие лучи Ваала-Солнца. В этом отношении, для понимания Библии, никакой реально-исторической комментарий к ней не дает столько, сколько маленькая книга Бунина: ибо, повторяю, не может быть никаких сомнений в том, что прочитать ее это все равно, что увидеть воочию все то, что увидел сам ее автор.

#### П. Бицилли.

Нина Берберова. «Последние и Первые». Париж. 1931.

Трудно ожидать, чтобы первый роман молодого писателя был романом сколько-нибудь совершенным. Во многих других областях литературы (и искусства вообще) такой ранний успех гораздо возможнее. Роман требует не только таланта, не только внутреннего, духовного опыта, но еще и опыта житейского, умения распознавать людей, того особого чутья в понимании, такта в изображении человеческих отношений и характеров, которое дается лишь постепенно, которого в начале жизни ни у кого, даже у самого одаренного человека, нет и не может быть. Все эти качества, вместе взятые, мы называем знанием жизни, именем крайне неопредѣленным, но обозначающим вместе с тем нечто очень реальное. Никто не мог бы в точности объяснить, что значит «знать жизнь». Но это знание непосредственно ощущается в людях, которые им обладают и также непосредственно воспринимаем мы всякий признак его отсутствия. При этом, романисту оно необходимо вовсе не в том лишь случае, когда он собирается писать «реалистический роман». Нужно оно и для романа самого фантастического. И никакой фантазии, никакому проникновению в гораздо более тайные глубины существования этого простого знания, столь многим доступного, с такой естественной постепенностью приходящего с годами, все же никогда не замѣнить.

Автору «Последних и Первые» это знание предстоит приобрести. В том, что оно будет приобретено, уже сейчас не может быть сомнений. Роман полон его предчувствий, будучи его самого в значительной степени лишен. Герои романа еще несколько схематичны, их поступки, их рѣчи слишком непосредственно продиктованы тем душевным содержанием, которое автор захотел им дать. Они не живут своей самостоятельной жизнью, а лишь тем, отпущенным им в кредит, существованием, каким автор желал и умел их надѣлить. Люди в романе должны оторваться от своего творца, в них должен появиться некоторый излишек свободы сравнительно с их первоначальным замыслом. Но это и есть самое трудное в искусстве романиста. Это и есть то, что кроме таланта, требует особой интуиции и опыта. Конечно, опыт этот должен быть не только жизненным, но и литературным. Иначе нельзя научиться написать роман, как писанием романов. В этом смысле «Последние и Первые» — превосходное начало, нужно надеяться, долгаго и счастливаго литературнаго пути.

Полная самостоятельность литературных приемов с первых же шагов не дана. Роман, о котором идет рѣчь, находится под совершенно очевидным обаянием романов Достоевского. Все действующий лица его с начала до конца движутся и говорят в состоянии крайней нервной напряженности. Даже мужественное спокойствие главного героя так подчеркивается каждый раз, что и оно кажется каким-то пароксизмом спокойствия, то-есть уже чѣм-то беспокойным. Печать Достоевского лежит не только на стиле, но и на самом языке, который поэтому кажется слегка архаическим. Надо сказать, однако, что именно в области стиля и языка сказался всего явней талант Нины Берберовой. Язык этот всегда находчивый, всегда живой, уже сам по себе плывет. А ведь язык — первое, в чем чувствуешь писателя. И он дан ему в значительной мѣрѣ с самого начала, до всякаго опыта, до всего, чему может научить жизнь. Несмотря на влияние Достоевского язык «Последних и Первые» — не какой-нибудь взятый на прокат, а свой, не всеобщий, а очень особенный, всегда осязаемый, играющий, непредвиденный и беспокойный. Повсюду в романе, и в более совершенных, и в менее удавшихся его главах, не изсякает оживление, разлитое в нем самым его ритмом, словесным строем, и до конца именно этот ритм не оставляет в нем ничего безразличнаго и мертваго.

Повторяю, «Последние и Первые» — прекрасное начало. Но есть в этой книгѣ уже и сейчас страницы вполне зрѣлые, к которым нечего прибавить и в которых нечего исправлять. Такова, напр., глава, где говорится о парижском домѣ, населенном нищими русскими, там, где изображен Монмартрский ночной кабачек и еще очень многія отдѣльныя описанія, чуждыя всякаго мертвеннаго описательства, всегда подвижныя, острыя, одновременно убѣдительныя и нежданна. Часто одна кака-нибудь счастливо найденная черта, один эпитет, одно сравнение обличает своеобразную манеру видеть мир и ло-